

Эрих Мария
РЕМАРК

Ночь
в Лиссабоне



Издательство АСТ
Москва

Я не сводил глаз с корабля. Ярко освещенный, он стоял поодаль от набережной, на Тежу. В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копи, а фонарь в темноте был опаснее чумы в Средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль — пассажирский пароход — стоял на погрузке. Я знал, что в море он должен выйти завтра вечером. В резком свете голых электрических ламп в трюмы загружали мясо, рыбу, консервы, хлеб и овощи; докеры тащили на борт багаж, а кран так бесшумно подносил ящики и тюки, будто они ничего не весили. Пароход готовился к рейсу, как ковчег времен потопа. Да это и *был* ковчег. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Горой Арарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. Они давным-давно поглотили Германию и Австрию, затопили Польшу и Прагу; Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж уже ушли на дно, города Италии пахли потопом, да и в Испании стало небезопасно. Побережье Португалии сделалось по-

следним пристанищем для беглецов, которые пре-
выше родины и существования ценили справедли-
вость, свободу и терпимость. Для того, кто не мог
добраться отсюда в обетованную землю, в Америку,
все было кончено. Ему назначено обессилеть в де-
брях отказов во въездных и выездных визах, недо-
стижимых разрешений на работу и жительство, ла-
герея для интернированных, бюрократии, одиноче-
ства, чужбины и страшного всеобщего безразличия
к судьбе одиночки, какое неизбежно порождает
война, страх и нищета. Человек в это время был уже
ничем, действительный паспорт — всем.

После обеда я играл в казино, в Эшториле*. Мой
костюм выглядел пока вполне прилично, и меня
туда пропустили. То была последняя, отчаянная
попытка подкупить судьбу. Через несколько дней
португальское разрешение на жительство истекало,
а других виз мы с Рут не имели. Корабль, стоящий
на Тежу, — последний, и во Франции мы надея-
лись отправиться на нем в Нью-Йорк; но все би-
леты оказались распроданы много месяцев назад,
а нам, кроме американской въездной визы, недо-
ставало еще и трехсот с лишним долларов на пере-
езд. Я пытался достать хотя бы денег, единственным
способом, какой здесь пока что был возможен, —
игрой. Попытка бессмысленная, ведь даже если б
я выиграл, попасть на корабль мы могли бы только
чудом. Но отчаяние и опасность учат беглеца верить
в чудеса — иначе-то не выживешь. Из шестидесяти
двух долларов, какие у нас еще оставались, пятьде-
сят шесть я проиграл.

* Эшторил — курортный городок в окрестностях Лиссабона,
где расположено известное казино.

Поздней ночью набережная была почти безлюдна. Однако немного погодя я заметил мужчину, который бесцельно расхаживал туда-сюда, останавливался и, как и я, смотрел на корабль. Наверно, тоже один из многих потерпевших крушение, подумал я и уже не обращал на него внимания, пока не почувствовал, что он глядит на меня. Страх перед полицией не покидает беглеца никогда, даже во сне, даже когда бояться нечего, — поэтому я тотчас скучливо отвернулся и не спеша пошел прочь, как человек, которому совершенно нечего опасаться.

Вскоре я услышал за спиной шаги. Но продолжал идти не спеша, раздумывая, как бы известить Рут, если меня арестуют. Пастельные дома, которые спали в конце набережной, точно мотыльки в ночи, были еще слишком далеко, чтобы я без риска получить пулю добежал до них и исчез в переулках.

Незнакомец поравнялся со мной. Ростом он был чуть ниже меня.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не останавливаясь, я покачал головой.

— Австриец?

Я не ответил. Смотрел на пастельные дома, приближавшиеся слишком медленно. Знал ведь, что некоторые португальские полицейские прекрасно говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал мужчина.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но в Европе меня раз пять задерживали жандармы в штатском. Сейчас документы у меня есть, причем неплохие, сделанные в Париже пражским профессором математики, но не вполне подлинные.

— Вы смотрели на корабль, — сказал мужчина. — Вот я и подумал...

Я смерил его равнодушным взглядом. На полицейского не похож; впрочем, последний жандарм, сцапавший меня в Бордо, выглядел жалостно, прямо как Лазарь после трех дней во гробе, а оказался самым безжалостным из всех. Взял меня под арест, хотя знал, что через день в Бордо войдут немецкие войска и тогда все, спета моя песенка, но, к счастью, через несколько часов жалостливый директор тюрьмы отпустил меня на свободу.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил мужчина.

Я не ответил. Еще двадцать метров — и при необходимости можно оттолкнуть его и смыться.

— У меня есть два билета на пароход, который стоит вон там, — сказал мужчина и полез в карман.

В самом деле билеты. Хотя в тусклом освещении ничего не прочтешь. Но мы уже достаточно близко от домов. Можно рискнуть и остановиться.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски. На несколько слов моих познаний хватало.

— Вы можете их получить, — сказал он. — Мне они не нужны.

— Не нужны? Что это значит?

— Больше не нужны.

Я смотрел на незнакомца. И не понимал его. Кажется, он и вправду не полицейский. Чтобы арестовать меня, в таких нелепых уловках нет необходимости. Но если билеты подлинные, то почему он не может ими воспользоваться? И почему предложил их мне? Чтобы продать? Что-то во мне затрепетало.

— Я не могу их купить, — в конце концов сказал я по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне, говорят, есть богатые эмигранты, они заплатят вам, сколько запросите. Вы обратились не по адресу. У меня денег нет.

— Я не хочу их продавать, — сказал он.

Я опять посмотрел на билеты:

— Они настоящие?

Ни слова не говоря, он протянул их мне. Они хрустнули в моих руках. Настоящие. Обладание ими — рывок от гибели к спасению. Я, правда, не мог ими воспользоваться, потому что у нас не было американских виз, но мог завтра утром еще попробовать с их помощью получить визы... или хотя бы продать их. Это означало лишние шесть месяцев жизни. Я не понимал этого человека.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Вы можете получить их, — отвечал он. — Даром. Завтра утром я уеду из Лиссабона. Но у меня есть одно условие.

Я опустил руки. Так и знал, это не может быть правдой.

— Какое же? — спросил я.

— Мне бы не хотелось оставаться этой ночью одному.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До завтрашнего утра.

— И все?

— Все.

— Больше ничего?

— Ничего.

Я недоверчиво смотрел на него. Привык, конечно, что люди вроде нас порой не выдерживали, часто не могли оставаться одни, страдали агорафобией, как те, кому уже нигде нет места, и товарищ в ночи, пусть даже совершенно незнакомый, может спасти от самоубийства, но в таких случаях помогать друг другу вполне естественно, и никакую цену за это не назначали. Тем паче такую.

— Где вы живете? — спросил я.

Он отмахнулся.

— Туда я не хочу. Здесь найдется ресторанчик, где можно посидеть?

— Наверняка найдется.

— А нет такого, чтоб для эмигрантов? Вроде парижского кафе «Роза»?

Кафе «Роза» я знал. Две недели мы с Рут там ночевали. Хозяин позволял, если закажешь кофе. Приносишь газеты и устраиваешься на полу. На столах я не спал никогда; с полу не упадешь.

— Такого я не знаю. — Вообще-то я знал один, но человека, у которого есть два билета на пароход, не водят туда, где народ глаз себе выколет, лишь бы их заполучить.

— Я знаю здесь только одно заведение, — сказал незнакомец. — Но можно попытаться. Вдруг там еще открыто.

Он позвонил одинокое такси, взглянул на меня.

— Ладно, — сказал я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Хорошо бы сообщить Рут, что этой ночью я не вернусь; но, когда я садился в дурно пахнущее, темное такси, меня вдруг захлестнула такая отчаянная, жуткая надежда, что я едва устоял на ногах. Может, все это и в самом деле правда, может, наша жизнь еще не кончилась и невозможное сбудется — наше спасение. Я уже не решался ни на миг оставить незнакомца одного.

Мы объехали театральную кулису площади Пра-са-ду-Комерсиу и немного погодя очутились в лабиринте лестниц и переулков, ведущих в гору. Эта часть Лиссабона была для меня незнакомой; как обычно, я знал главным образом церкви да музеи —

не потому, что так сильно любил Бога или искусство, а просто потому, что в церквах и музеях не спрашивали документы. Перед Распятым и мастерами искусства ты покамест оставался человеком, а не индивидом с сомнительными бумагами.

Мы вышли из такси и зашагали вверх по лестницам и путаным переулкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, мертвым солнцем и сном. Сбоку под восходящей луной выросал из ночи замок Святого Георгия, и свет, словно водопад, каскадами струился вниз по множеству ступеней. Я обернулся, посмотрел на гавань. Внизу лежала река, и река эта была свободой, жизнью, она впадала в море, а море было Америкой.

Я остановился:

— Надеюсь, вы не шутите.

— Нет, — ответил незнакомец.

— То есть не шутите насчет билетов на пароход?

На набережной он снова спрятал их в карман.

— Нет, не шучу. — Он кивнул на маленькую площадь, окаймленную деревьями. — Вон там находится кафе, о котором я говорил. Пока открыто. Мы не привлечем внимания. Кроме иностранцев, туда мало кто заходит. Нас примут за людей, которые завтра уедут. Как и все прочие, что отмечают там свою последнюю ночь в Португалии, а наутро садятся на корабль.

Кафе оказалось чем-то вроде бара, с маленькой площадочкой для танцев и террасой — заведение, рассчитанное на туристов. Слышались звуки гитары, в глубине виднелась певица, исполнительница фаду. Несколько столиков на террасе занимали иностранцы. Среди них женщина в вечернем

платье и мужчина в белом смокинге. Мы устроились в конце террасы. Оттуда открывался вид на Лиссабон, на церкви в блеклом свете, на освещенные улицы, гавань, доки и корабль, который был ковчегом.

— Вы верите в жизнь после смерти? — спросил человек с билетами.

Я поднял взгляд. Вот так вопрос! Я ожидал чего угодно, только не этого.

— Не знаю, — в конце концов ответил я. — В последние годы меня слишком занимала жизнь *до* смерти. Доберусь до Америки, тогда с удовольствием подумаю об этом, — добавил я, напоминая, что он обещал мне билеты.

— А я в нее не верю, — сказал он.

Я облегченно вздохнул. Был готов выслушать несчастливца, но вести философские дискуссии вовсе не хотел. Спокойствия не доставало. На реке стоял корабль.

Некоторое время незнакомец словно бы спал с открытыми глазами. Однако когда на террасу вышел гитарист, он встрепенулся.

— Мое имя Шварц, — сообщил он. — Не настоящее, конечно, а то, что значится в паспорте. Но я привык к нему, и на сегодняшнюю ночь его достаточно. Вы долго жили во Франции?

— Пока мог.

— Интернированы?

— Когда началась война. Как все остальные.

Мужчина кивнул.

— Мы тоже. Я был счастлив, — неожиданно сказал он, тихо и быстро, опустив голову, глядя в сторону. — Очень счастлив. Даже не представлял себе, что могу быть так счастлив.

Я с удивлением обернулся. В самом деле, по нему никак не скажешь. Он производил впечатление человека вполне заурядного, причем довольно робкого.

— Когда? — спросил я. — Неужели в лагере?

— В последнее лето.

— В тридцать девятом? Во Франции?

— Да. В предвоенное лето. Я и сейчас не понимаю, как все вышло. Вот почему мне необходимо с кем-нибудь об этом поговорить. Я никого здесь не знаю. А если поговорю об этом с кем-нибудь, оно снова оживет. И станет тогда совершенно ясным. И сохранится. Нужно только еще раз... — Он осекся. А немного погодя спросил: — Понимаете?

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Понять несложно, господин Шварц.

— Это вообще невозможно понять! — возразил он, неожиданно резко и страстно. — Она лежит там, внизу, в комнате с закрытыми окнами, в мерзком деревянном гробу, мертвая, уже не существующая! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я, никто, а тот, кто говорит, что понимает, лжет!

Я молча ждал. Не раз мне доводилось сидеть вот так с разными людьми. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Я пережил такое в Швейцарии, когда получил известие, что моих родителей в Германии убили в концлагере и сожгли. Я постоянно думал о глазах матери в огне печи. Эта картина преследовала меня до сих пор.

— Полагаю, вы знаете, что такое эмигрантское безумие, — уже спокойнее сказал Шварц.

Я кивнул. Официант принес мисочку креветок. Я вдруг почувствовал, что очень проголодался, и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Нерешительно посмотрел на Шварца.

— Ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я торопливо ел. Креветки были свежие и пряные.

— Извините, — сказал я, — я правда очень проголодался.

Я ел и смотрел на Шварца. Он спокойно сидел, глядя вниз, на театральный город, без нетерпения и досады. Во мне шевельнулось что-то вроде симпатии. Как видно, он покончил с заповедями ложного благоприличия и знал, что человек может быть голодным и не откажется от еды, хотя кто-то рядом страдает, и бесчувственность здесь ни при чем. Если сделать для ближнего ничего не можешь, нет ничего дурного в том, чтобы утолить голод его хлебом, пока не отняли. Кто знает, когда отнимут.

Я отодвинул тарелку, взял сигарету. Давно не курил. Экономил деньги, чтобы на сегодняшнюю игру побольше осталось.

— Эмигрантское безумие одолело меня весной тридцать девятого, — сказал Шварц. — После пяти с лишним лет в эмиграции. Вы где были осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. В ту пору я вконец пал духом. Накануне Мюнхенского соглашения. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но уже поставил точку. Будет война, придут немцы и заберут меня. Такова моя судьба. Я смирился.

Я кивнул:

— Это было время самоубийств. Странно, когда через полтора года в самом деле пришли немцы, самоубийства случались реже.

— Потом заключили Мюнхенские соглашения, — сказал Шварц. — Тогда, осенью тридцать восьмого, нам вдруг снова подарили жизнь! Она казалась такой легкой, что люди забывали об осторожности. В Париже даже второй раз зацвели каштаны, помните? Я стал настолько легкомыслен, что чувствовал себя человеком и, увы, так себя и вел. Полиция схватила меня и по причине повторного недозволенного въезда засадила на месяц под арест. Потом началась старая игра: под Базелем швейцарцы выдворили меня назад, за границу, французы в другом месте опять выпихнули в Швейцарию, арестовали... Ну, вы же знаете эти шахматы с людьми...

— Знаю. Зимой было не до шуток. Самые лучшие тюрьмы — швейцарские. Теплые, как гостиницы.

Я опять взялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть кое-что хорошее: они убеждают, что ты счастлив, пусть даже секундой раньше думал, что отнюдь нет. У счастья много степеней. Кто это понимает, редко бывает совсем несчастлив. Я был счастлив в швейцарских тюрьмах, потому что они были не немецкие. Но передо мной-то сидел человек, утверждавший, что владел счастьем, хотя где-то в Лиссабоне, в душной комнате, стоял деревянный гроб.

— Когда меня последний раз выпустили на волю, то пригрозили выдворить в Германию, если снова поймают без документов, — сказал Шварц. — Всего-навсего угроза, но я испугался. Начал обдумывать, что мне делать, если так случится на